

КРЕСТ КОМАНДОРА

Александр Кердан



Маршрутман

ВЕЛИКОЙ СЕВЕРНОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ

Александр Борисович Кердан

Крест командора

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=33577993

Крест командора: роман / А. Б. Кердан: Маматов; СПб.; 2017

ISBN 978-5-91076-171-5

Аннотация

Книга рассказывает о Второй Камчатской экспедиции, названной Великой. Она проходила под началом датчанина Витуса Беринга, состоявшего на русской службе. Это был грандиозный даже по современным меркам научный и исследовательский проект. У него сразу появились и сторонники, и недоброжелатели. Вокруг экспедиции строились всевозможные козни, за отрядами велась слежка. Вместе с Берингом шли «встречь солнцу» и исследовали побережья Аляски, Северного Ледовитого и Тихого океанов русские люди: капитан Чириков, флотский мастер Дементьев, матросы и солдаты, каторжане и работные люди. Великое путешествие состоялось, но для многих его участников стало последним. Открытия экспедиции по праву первопроезда навеки принадлежат России. А мужество и героизм, проявленные в этом походе, – яркий пример служения Отечеству. *Издание публикуется в авторской редакции*

Содержание

Служить России	5
Пролог	7
Часть первая	22
Глава первая	22
1	22
2	27
3	35
4	47
Глава вторая	54
1	54
2	58
Конец ознакомительного фрагмента.	61

**Александр
Борисович Кердан
Крест командора
*Роман***

© Кердан А. Б., текст, 2017

© Оформление. ООО «Маматов», оформление,
2017

Служить России

Выдающийся русский философ Иван Александрович Ильин, имя которого наконец-то вернулось к нам после длительного забвения, называл территориальное пространство России величайшим наследием, которое оставили нам наши предки.

Действительно, мы живём в огромной стране, в которой Солнце никогда не заходит: если в Москве полночь, то на Камчатке и на Курилах уже рассвет...

Окидывая взором карту нашей Родины, которая, как державный орёл, расплстала от Уральского хребта свои крылья на запад и восток, мы редко задумываемся над тем, что все реки, моря, горы, острова, проливы, обозначенные на ней, кто-то однажды увидел первым.

Увидел, нанёс очертания и координаты на лист ватмана, чтобы после учёный картограф перенёс эти изображения на меркаторскую карту, на которой еще в тридцатых-сороковых годах восемнадцатого столетия было очень много белых пятен.

Чтобы устранить эти пробелы, провести ревизию земли русской, Пётр Великий в последние годы своей жизни отправил несколько экспедиций на Камчатку и в Восточную Сибирь.

Роман, который вы держите в руках, рассказывает о

судьбе одной из них – Второй Камчатской экспедиции, названной Великой.

Она проходила под началом Витуса Беринга – датчанина, состоящего на русской службе.

У этого человека очень непростая судьба. Мальчишкой он мечтал петь в церковном хоре, а стал моряком, хотя всегда побаивался моря. Практически всю жизнь он провёл вне своей родины, служа чуждому potentату – так называли в ту пору царей. Да и возраст у Витуса Беринга для дальних странствий был неподходящим, и здоровье пошаливало... И всё-таки командор был человеком чести, он до конца дней сохранил верность присяге и старался по мере сил выполнять свои обязанности.

Вместе с Берингом шли «встречь Солнцу», исследовали побережья Северного Ледовитого и Тихого океанов, плыли на утлых судёнышках к берегам Аляски русские люди: капитан Чириков и флотский мастер Дементьев, простые матросы и флотские солдаты. Открытия, сделанные ими, по праву первопрободства навеки принадлежат России.

А мужество и героизм, с которыми наши замечательные соотечественники преодолевали все трудности на своём пути, – это яркий пример для всех поколений россиян, делом жизни своей выбравших служение Отечеству.

Пролог



Берег для него всегда был роднее моря. С детства, неуклюжий и тучный, он чувствовал себя надёжно и уверенно только на земле. Иногда он забирался на крутой откос и подолгу глядел то на море, то на побережье, и тогда вода и суша казались ему чем-то единым: песчаные холмы напоминали вздыбленную горько-солёную пучину, а зелёные волны – холмистую твердь.

Почти все города и поселки королевства разместились на стыке двух стихий, и порой было не понять: то ли они – ворота в море, то ли двери на сушу, и все были похожи на старые, выброшенные на берег баркасы. Вот и его родной Хорсенс прицепился за край земли в остроконечном фьорде на востоке Ютландии. Его кривые узкие улочки облепились блестящими чешуйками, пропахли табачным дымом, водорослями и рыбой, подобно палубе рыбацкого суденышка. И не мудрено, что здешние мальчишки из поколения в поколение мечтали о море и, как правило, становились мореходами. А его, к двенадцати годам толком не научившегося плавать, они часто гнали с улицы камнями, показывали языки и дразнили толстяком.

– Бедный мой Витус, – говорила бабушка. Mormor¹ Мартина гладила его по взъерошенным, чёрным как смоль волосам, сетуя, что некому заступиться за сироту, и долго шептала что-то – молилась.

И в её сетованиях была своя правда. После смерти её дочери Маргарет Беринг – матери Витуса – его отец Ионансен Свендсен почти не замечал младшего сына. Хотя и говорят, что последышей любят сильнее, да, очевидно, растратил Ионансен все свои нежные чувства на старших детей. Его первенец Йёрген, равно как родившаяся второй дочь Иоганна, уже давно жили своими семьями и особого беспокойства у отца не вызывали. А настоящими его любимчиками бы-

¹ Mormor – бабушка, мать матери (дат.).

ли двойняшки-подростки, сильные и хваткие парни Свен и Йунас. Сам Ионансен оставался ещё крепким – ему всего пятьдесят, и совсем не утрачена мужская привлекательность в глазах многих местных энке² и фрёкен³. Был Ионансен в прошлом таможенным чиновником, а теперь владел магазином пряностей, то есть был отнюдь не беден. Но вопреки сложившемуся мнению об особой любви к младшим сыновьям, собирался Ионансен в день ухода на покой передать дела не Витусу, а именно Свену и Йунасу.

– Вот накоплю денег, – как-то однажды сказал он, – и отправлю Свена в Ост-Индию, чтоб открыл на Кромандельском побережье магазин. А Йунаса определю в таможду. И тогда не придётся нам выплачивать перекупщикам наличные, как сейчас... А тебя, сён⁴, – щурясь и как бы нехотя перевёл он взгляд на Витуса, – а тебя пошлю в Амстердам учиться на капитана, чтобы появился в семье моряк, который будет ходить на нашем корабле, ну, хотя бы в тот же Транкебар. То-то завалим всю Данию мы своим товаром!.. А, Витус? Хочешь быть капитаном?

И потом в редкие дни, когда вся семья собиралась за столом, любил Ионансен, раскуривая короткую трубочку-носогрейку и прихлебывая густое двойное пиво, вернуться к своей мечте.

² Энке – вдова (дат.).

³ Фрёкен – девушка, девица (дат.).

⁴ Сён – сын (дат.).

И вновь при этих словах Ионансена бабушка торопливо крестилась, братья перемигивались, мол, какой из этого толстяка капитан, а Витус послушно кивал, не смея перечить отцу. Да и как признаешься суровому родителю, что его куда больше влечёт к себе кирха, что, подобно капитанской рубке над кормой баркаса, возвышается на холме в дальнем конце городка.

Кирха много лет остаётся самым высоким строением Хорсенса. С ней не могут соперничать ни ратуша, ни построенная на ратушной площади новая церковь святого Нильса – покровителя моряков.

Основание кирхи сложено из грубого камня, а стены и остроконечная кровля – деревянные. Они покрыты дёгтем, защищающим от сырости, и украшены наполовину стёршейся деревянной резьбой. Она представляет собой замысловатое сплетение крылатых змеев и растений, а черепица на остроконечной крыше похожа на чешую сказочного дракона.

Давным-давно, когда Дания ещё не была королевством, этот храм во имя Спасителя построили монахи-францисканцы – первые проповедники слова Христова на датской земле. Очевидно, им было непросто достучаться до душ и сердец новообращённых прихожан. Снаружи кирха больше похожа на крепость с узкими бойницами вместо окон. Да и резьба на стенах – дань языческой традиции. Она изображает конец света. Именно таким скопищем чудовищ и представляли преисподнюю скандинавские и немецкие предки данов.

Историю кирхи любит пересказывать Витусу пробст Хольберг – приходской священник.

– Много столетий эта кирха была католическим храмом. Паписты хозяйничали здесь, пока Христиан II Благословенный не разрешил проповедовать в королевстве истинно верное учение преподобного Лютера, – при упоминании о Христиане пробст всегда складывал свои пухлые руки лодочкой и смотрел на арочный свод кирхи так, словно хотел разглядеть под ним лик монарха-покровителя, переводил взгляд на мальчика и продолжал ещё более вдохновенно: – С той благодной поры Господь неотрывно с нами... Ты сам скоро почувствуешь это, Витус, когда я приведу тебя к первому причастию.

Обряд конфирмации должен был состояться в ближайший Великий четверг. Провести его пробст обещал лично. Он всегда благоволил к Витусу. И не только потому, что тот приходился сыном главному попечителю кирхи. Пробсту нравились сосредоточенность и немногословие мальчика, за которыми мнились ему качества будущего истового прихожанина: глубокая вера в Создателя, способность к самоотречению и аскезе. А ещё Витус хорошо пел. Без него не обходилась ни одна спевка в церковном хоре.

– Ты сердцем поёшь, – частенько повторял пробст, – так поют истинно верующие. Господь даровал тебе настоящий талант, мин госсэ⁵, грешно зарывать его в землю! Дабы это-

⁵ Мин госсэ – мой мальчик (дат.).

го не случилось, мы найдём хорошего учителя музыки, как только наша община примет тебя в свои полноправные члены...

Как-то, незадолго до этого важного события, Витус вышел из отцовского дома и знакомой дорогой направился к кирхе.

Стоял один из первых по-настоящему весенних дней. Тёплый влажный ветер со стороны фьорда разогнал низкие тучи над городом. Солнечные лучи рассеяли утреннюю туманную дымку. Яркими бликами отражаясь в лужах на мостовой и в мелкостекольных окнах богатых домов, они веселили взор, вселяли уверенность, что зимняя промозглость и слякоть остались позади.

Витус шёл по улице, улыбаясь весело чирикающим воробьям, и представлял, как будет демонстрировать церковному собранию свои познания в христианском учении, как споёт новый гимн, выученный к торжественному дню, как пробст положит ему в рот хлебец, смоченный в красном вине...

Увлечённый своими мыслями, он не заметил приближения опасности. Из благостного состояния его вывел чей-то торжествующий вопль:

– Ага, попался, толстяк!

Витус оглянулся и с ужасом увидел перед собой Долговязого Педера и его шайку.

Педер был старше Витуса года на три. А прозвище получил за то, что был не по годам высоким – на полторы головы выше своих сверстников, длинноруким и жилистым. Главарь

уличных мальчишек, он, как и большинство его приятелей, носил тяжёлые деревянные башмаки и босторг – грубую рыбацью робу, и, как взрослый, почти никогда не выпускал изо рта трубку-носогрейку. Из-за выбитых с одного бока зубов трубка, казалось, приросла к его нижней челюсти.

Именно Долговязый Педер больше всех донимал Витуса своими насмешками, всегда норовил побольнее ударить или пнуть его. О причинах этой ненависти Педер напоминал при каждой встрече:

– Я за своего папашу тебе, толстяк, все зубы посчитаю!

Папашу Педера, известного в округе контрабандиста, задержал и посадил в тюрьму родитель Витуса, ещё в пору своей таможенной службы.

Увидев своего заклятого врага, Витус моментально pokrылся противным липким потом и застыл на месте. Спыхватившись, он рванулся назад, но мальчишки уже обступили его со всех сторон.

Долговязый Педер не спеша приблизился к Витусу и, растянув в кривой улыбке щербатый рот, выдохнул ему в лицо струю вонючего дыма.

Витус закашлялся, у него выступили слёзы. Главарь презрительно оглядел его с ног до головы, ловко плюнул ему на новый кожаный башмак и приказал:

– Тащите эту жирную девчонку к нам!

«В Логово...» – содрогнулся Витус. Об этом глубоком овраге за городом ходили самые жуткие слухи. Бабушка го-

ворила, что там собираются слуги Сатаны. Старшие братья рассказывали ему страшные истории про вампиров и оборотней, живущих в лесу за оврагом. А пробст Хольберг, завидев Долговязого Педера и его мальчишек на улице, называл их бесовским отродьем.

Витус от страха чуть не лишился чувств, ноги у него стали ватными: одно дело – быть побитым на улице, совсем другое – сгинуть в Логове...

Между тем мальчишки поволокли Витуса за собой. Снедаемый своими страхами, он и не заметил, как закончилась главная улица, носящая имя Хорсенсгарде, как свернули на Скулегарде, где располагалась единственная в городе школа, в которой учился Витус и куда из-за бедности родителей не могли поступить те, кто окружал его сейчас.

За время пути, как назло, им не встретился ни один прохожий, к которому Витус мог бы обратиться за помощью. Проходя мимо школы, он хотел закричать: может, школьный сторож услышит и придёт на выручку, но, как будто почувствовав это, Долговязый Педер на ходу обернулся и показал ему кулак, мол, только попробуй.

Сразу за школой начинались бедные кварталы. Там помощи Витусу было ждать уже не от кого. Он сделал ещё одну отчаянную попытку вырваться из рук мальчишек, но, получив несколько тумаков, сдался. Как библейский агнец, ведомый на заклание, Витус плёлся по длинному узкому переулку мимо серых одноэтажных и однообразных домиков, в ко-

торых жили родители его мучителей – рыбаки и рыбацкие вдовы, подёнщики и проститутки, солдаты и воры.

Миновав две мусорные свалки, в которых рылись облезлые собаки, мальчишки наконец вышли на окраину городка. Оставив слева от себя буковую рощу, по едва заметной тропе они нырнули в густой кустарник и вскоре оказались на краю оврага.

Сердце Витуса готово было выпрыгнуть из груди. Воображение рисовало ему картины, одну ужаснее другой. То он представлял, как Долговязый Педер срывает с него кожаные башмаки с оловянными пряжками и подносит к голым пяткам горящую головню. То ему виделось, как злодеи заставляют его отречься от Бога, макают палец в кровь, чтобы подписать договор с дьяволом...

Но недаром говорят, что страх страху рознь. Боязнь погубить свою душу наполнила сердце Витуса неожиданной решимостью во что бы то ни стало вырваться из плена...

Когда скользнувшая вниз тропа стала такой узкой, что двоим по ней не пройти, державшие Витуса за руки мальчишки отпустили его.

Витус, тяжело дыша, опустился на землю.

– Догоняйте! – приказал главарь и первым скрылся в овраге.

Вслед за ним спустились остальные, кроме двух парней, оставшихся с пленником.

– Вставай, толстяк! Двигай вниз! Нечего время тянуть! –

пнул Витуса парень, стоявший поближе. Витус с трудом поднялся. Парень, уверенный в покорности пленника, шагнул на тропу, но поскользнулся и, ругаясь и хохоча, покатился вниз. Его приятель, подойдя к краю оврага, тоже рассмеялся.

– Так же хочешь или своими ногами пойдёшь? – спросил он.

Тут Витус внезапно кинулся к нему и изо всех сил толкнул в грудь. Парень не удержал равновесия и с воплем полетел вслед за своим товарищем.

Витус ошалел от собственного поступка. Он ещё несколько мгновений потоптался у края оврага, не зная, что делать дальше, и сломя голову побежал сквозь кусты прочь, не ведая куда, лишь бы подальше от этого проклятого места.

Ветки больно хлестали его по лицу, цеплялись за одежду, но он не замечал этого и бежал неудержимо, как испуганный заяц, пока не выбился из сил. Тогда он свалился на землю, покрытую прелой прошлогодней листвой, и долго лежал неподвижно, с трудом переводя дух. Когда сердце перестало биться так гулко, что звенело в ушах, к нему вернулась способность слышать. Шума погони не было. Только ветер шелестел прошлогодней листвой.

– Чвик-чвик-чуик-чуик... – вдруг раздалось у него над самой головой.

Витус перевернулся на спину и вздохнул полной грудью.

– Чвик-чвик... – послышалось снова.

На фоне голубого бездонного неба и наливающихся со-

ком веток кустарника, казалось, прямо над ним сидела сизая пичуга и разглядывала мальчика чёрными глазами-бусинками. Время от времени она вскидывала голову так, словно перекатывала в горле росинку, и снова заводила своё звонкое «чвик-чуик».

Витус, как зачарованный, глядел на птицу. Внезапно её легкомысленное чириканье сменилось длинной трелью, каким-то посвистыванием, щебетаньем. Эти звуки затронули в душе такие струны, что слёзы потекли по щекам. «Ты не голосом, сердцем поёшь», – припомнились вдруг слова пробста Хольберга. Научиться петь как птица – разве это не мечта?

Мальчику вдруг захотелось поймать и принести эту певунью к себе в дом, чтобы слушать её песни. Он моментально забыл, что сам недавно был в плену и только-только вырвался на свободу. Захваченный идеей заполучить эту удивительную птаху, Витус приподнялся и, вытянув руку с растопыренными пальцами, попытался схватить её.

Пичуга, словно играя с ним, на миг прекратила пение и перепорхнула на соседний куст. Откуда снова донеслось: «чвик-чуик». Витус подкрался к ней поближе и уже готов был схватить её, когда неожиданно свалился в яму, скрытую ветками и листвой. Яма была достаточно глубокой, но он не ушибся, хотя и перепугался изрядно.

Попытался тут же выкарабкаться наверх, ухватившись за сухие корни, торчащие из стены, но это ему не удалось. Ноги

его скользили, а тонкие корни обламывались. Он сделал ещё одну попытку. И снова неудачную.

В очередной раз скатившись вниз, Витус огляделся и остолбенел.

Справа, привалившись спиной к склону ямы, лежал скелет, прикрытый остатками истлевшей одежды. Кисти его рук лежали на груди и были стянуты сгнившей верёвкой.

Витус, не отрываясь, смотрел в пустые глазницы жёлтого черепа. Смотрел так, словно это был сам дьявол, в логово которого его хотел затащить Долговязый Педер с друзьями. Витусу показалось, что ещё чуть-чуть и скелет набросится на него, утащит за собой в преисподнюю. Но ничего подобного не случилось.

«Чуик-чвик», – снова раздалось над его головой. Он наконец оторвал взгляд от страшной находки и увидел знакомую птичку, сидящую на сухой веточке на краю ямы. «Это всё из-за тебя!» – подумал он. А птичка тем временем куда-то упорхнула. Но, наверное, она и впрямь была чудесной. Витус вдруг понял, что больше не боится.

Он снова посмотрел на останки. На запястьях заметил чёрные бусины и крест. «Это же чётки. Такие носят католики». Пробст рассказывал ему, что чётки нужны им, чтобы не забывать порядок молитв. «Однако истинно верующим, – любил повторять он, – такое напоминание ни к чему».

Конечно, пробст – прав, но сейчас Витус не мог вспомнить ни одной подходящей молитвы: ни «Pater noster», ни

«Ave», ни «Credo»⁶. Не зная зачем, он потянул чётки к себе, при этом нить, связывающая их, распалась и бусины раскатились по листве, а чёрный кипарисовый крест остался у него.

Он сунул его в карман, потом неожиданно легко, будто его подтолкнули в спину, выбрался из ямы и зашагал в сторону города. Как нашёл дорогу в незнакомом лесу, он себе объяснить не мог. Словно кто-то подсказывал ему правильное направление, как будто он стал совсем другим человеком.

Его нарядный камзол и штаны из тонкого голландского сукна были в грязи, пряжка одного из дорогих башмаков потерялась. Но вопрос, который ещё нынче утром взволновал бы его: «Как он покажется дома в испорченном праздничном наряде?» – сейчас совсем не тревожил. Он решил, что сегодня скажет отцу о своём желании быть священником, а капитаном пусть будет Свен. Ему это больше по душе, чем конторка в магазине. Витус был уверен, что отец обязательно поймёт и одобрит такой выбор.

В отцовском доме его удивила непривычная тишина. Не встретив никого в прихожей, он прошёл в комнату, служившую столовой, и увидел всех родных сидящими за столом: бабушку, братьев и даже сестру Иоганну. Среди собравшихся не было только отца. Его место во главе стола сейчас почему-то занимал Йёрген, самый старший из братьев.

⁶ «Pater noster», «Ave», «Credo» – «Отче наш», «Богородица», «Символ веры» (лат.).

Все родственники как-то разом повернулись к Витусу и посмотрели на него с таким выражением, точно это вовсе был не Витус, а кто-то незнакомый, чужой. «Они, должно быть, ужасаются моему виду...» – мгновенно покраснев, подумал он и хотел что-нибудь сказать в своё оправдание, но не успел.

– Отец умер, – тихо проговорил Свен. Подбородок у него при этом мелко задрожал, и брат из заносчивого, самоуверенного юноши превратился в такого же растерянного мальчишку, как сам Витус.

Смысл слов не сразу дошёл до него. «Нет, этого не может быть...» – сильный, суровый отец казался ему вечным, как небо, как море, как холмы Хорсенса.

– Так решил Господь, сердце твоего отца не выдержало... – бабушка Мартина всхлипнула, приложила платок к глазам и повторила своё обычное «мой бедный Витус». Но сегодня она сказала это так, что стало понятно: бедными, осиротелыми с уходом Ионансена стали все они, вся семья.

Бабушка встала из-за стола, подошла к нему и обняла за плечи. Витус почувствовал, что сейчас она нуждается в его защите и помощи. Он полез в карман за платком, чтобы вытереть её слёзы. Вместе с платком вытащил крест.

– Что это? Где взял? – бабушка перестала всхлипывать.

– В лесу нашёл...

– Зачем, Витус? Я говорила тебе – нельзя подбирать чужое! Тем более – крест! Ты же чужую судьбу на себя возло-

жил!

В голосе бабушки звучала неподдельная тревога.

У Витуса перед глазами возник скелет, сидящий в лесной яме: «Неужели и я умру так?...»

– Выбрось немедленно! – поддержал бабушку Йунас. – А то и на нас ещё большую беду навлечёшь...

Витус недоумённо посмотрел на родных, захлопал ресницами и, вырвавшись из бабушкиных рук, выбежал из дома.

Как одержимый, побежал он на взморье, туда, где крутой берег был изрезан волнами прибоя. Хотел поскорее зашвырнуть крест подальше, так, чтобы никто больше не нашёл его. «Ах, если бы это воскресило отца!»

Запахавшись, он остановился на краю обрыва и замахнулся, чтобы бросить крест в волны, избавиться от страшной чужой судьбы, но не смог.

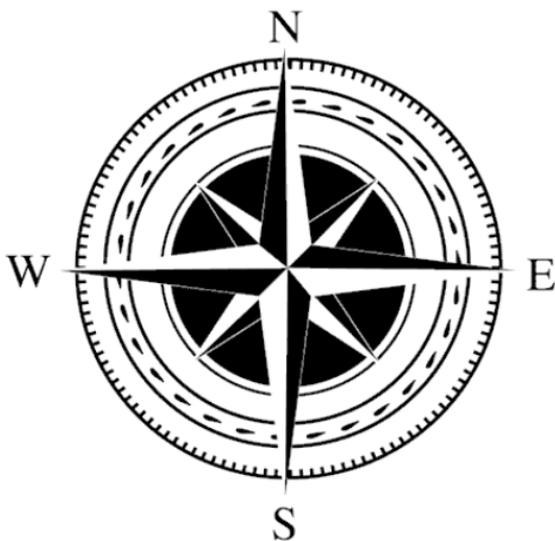
Он сел на выщербленный ветрами и прибором меловой камень и заплакал безудержно, навзрыд.

Соленый ветер дул со стороны моря, размазывал слезы на щеках. Витусу показалось, будто море плачет вместе с ним. Море, которое он так не любил, которого так боялся.

«Отец хотел, чтобы я стал капитаном», – неожиданно вспомнил он и, еще раз посмотрев на кипарисовый крестик на ладони, погладил его и решительно положил в нагрудный карман.

Часть первая

Обретение Аниана



Глава первая

1

Весна 1732 года выдалась ранняя. Ещё не отгуляли Масленицу, а в Санкт-Петербурге уже сошёл снег. Обнажились кучи мусора и нечистот, от которых свободны были разве что

мощённая дубовыми плашками Большая перспективная дорога, протянувшаяся от Адмиралтейства к разрастающейся Александро-Невской лавре, да центральная часть Васильевского острова, где рядом с бывшим дворцом опального Меншикова возводились кунсткамера и здание заново учреждённого Сената. Запахи городских помоек уносил прочь свежий ветер с Балтики. По обыкновению где-то к полудню он умудрялся разогнать серые тучи над городом, наново по высочайшему указу ставшим столицей империи. Однако к вечеру упрямые хмари опять нависали над Невой, и улицы северной Пальмиры погружались во мрак. Его не смогли одолеть даже шестьсот масляных фонарей, зажигаемых ежевечерне.

В один из таких сырых и беспросветных вечеров, когда Санкт-Петербург был скорее похож на столицу Нового Альбиона, нежели на парадиз Российского государства, по плашкоутному мосту, перекинутому через Неву рядом с церковью Исаакия Далматского, прогрохотала чёрная карета, окна которой были плотно закрыты непроницаемыми тёмными занавесками. Сидящий на козлах возница в чёрной треуголке и длинном чёрном плаще безжалостно нахлёстывал пару лошадей и то и дело оборачивался назад, словно за ним гнались.

Промчавшись вдоль земляного Кронверка до Петропавловской крепости, недавно одевшейся в гранит, возница перевёл лошадей на рысь, а после и вовсе заставил перейти на неторопкий шаг. Неподалёку от ворот крепости он остано-

вил карету и наклонился к верхнему окошечку, ожидая приказаний. Очевидно, таковые последовали незамедлительно, так как карета тут же развернулась и медленно покатила обратно к мосту, затем двинулась в сторону здания Сената.

Там, где строительные леса почти вплотную подходили к дороге, карета остановилась. Возница негромко и коротко свистнул. Раздался ответный свист. И тут же к карете шагнул какой-то человек, в чёрных, как у возницы, треуголке и плаще. Распахнув дверцу, он резво забрался внутрь.

Возница щёлкнул кнутом, и карета тронулась.

Но, как только она начала движение, из темноты к ней метнулся другой человек. Пока лошади не набрали скорость, он успел пристроиться на закорках и сразу прильнул ухом к задней стенке кареты.

Та м говорили по-французски.

– Il unhomme dangereux... – сказал обладатель низкого бархатистого голоса.

«Он опасный человек...» – язык говоривших был хорошо знаком человеку на закорках. По выговору обладателя бархатистого голоса он узнал уроженца Парижа.

– Надеюсь, вас не заподозрили? Вы не привели за собой соглядатаев? – голос второго собеседника был грубее и выдавал в нём нормандца.

– О, эти московиты такие беспечные... Уже пять лет, дорогой маркиз, я беспрепятственно копирую их карты в Адмиралтействе. И поверьте, ничего, кроме наград, не

имею... – при этих словах обладатель бархатного тембра самодовольно хохотнул.

– Не стоит недооценивать их, – осторожно заметил тот, кого называли маркизом. – Если вы попадёте, одним конфузом и пропозицией в адрес его королевского величества дело не закончится. Вы ещё не знаете, мой друг, как здесь поступают с пенюарами, то бишь шпионами? Доводилось ли вам бывать в Тайной канцелярии? Знаете ли вы генерала Ушакова?

– Того, что недавно стал сенатором?

– По вам чувствую, что вы в его богадельне всё же не бывали. А мне довелось. Когда я впервые оказался в этой дикой стране, Ушаков, будто нарочно, пригласил меня к себе и провёл по каземату. «Сие есть моя личная кунсткамера» – так выразился он. Скажу откровенно, зрелище удовольствие мне не доставило, впрочем, так же, как не доставляет радости и разглядывание разных уродцев в кунсткамере настоящей. Думаю, Ушаков хотел меня утратить или предостеречь. Скажу вам со всей откровенностью: сей генерал, такой милый во время куртагов, в своём ведомстве – сущий монстр. Того посещения оказалось достаточно, чтобы понять, что он ко всякого рода истязаниям имеет особое пристрастие, ну, скажем, такое же, как ваш двоюродный братец к бургундскому... Кстати, объясните, наконец, мой друг, для чего вы выписали сего поклонника Бахуса из пределов нашего отечества? Он же, простите великодушно мою прямо-

ту, не имеет к наукам никакого влечения. . .

– Я не стал бы судить так категорично, господин маркиз. Как говаривал мудрый Мишель Монтень, величие души заключается не столько в том, чтобы без оглядки устремляться вперёд и всё выше в гору, сколько в умении посчитаться с обстоятельствами и обойти препятствия. Я имею надежду, что мой дорогой кузен, невзирая на упомянутое вами пристрастие к виноградной лозе и, так скажем, отсутствие некоторых учёных познаний, всё же пригодится для того дела, для которого мы здесь.

– Что ж, тогда самое время поговорить о деле. . .

Тут маркиз и его собеседник понизили голоса так, что человек на запятках больше не смог разобрать ни единой фразы. До него долетали только отдельные слова, среди которых особенно часто повторялись имена моряков Беринга и то ли Шпанберга, то ли Штенберга. Также упоминались обер-камергер двора ея императорского величества Эрнст Бирон и первый министр Франции кардинал Андре Эркюль де Флери, голландский посланник в Санкт-Петербурге барон Зварт и английский резидент Клавдий Рондо. Но к чему, в какой связи прозвучали столь разные и вроде бы никак не связанные друг с другом имена и титулы, было непонятно.

Карета тем временем свернула к двухэтажному особняку, одиноко стоящему за городским пустырем. Окна первого этажа в этот поздний час были ярко освещены. Перед парадным подъездом, где переминался с ноги на ногу лакей в дол-

гополой ливрее, горели жировые лампы. Там остаться незамеченным было бы трудно.

Потому, когда в полусотне саженой от подъезда кони стали замедлять шаг, сидящий на запятках осторожно соскочил на землю и быстро скрылся в темноте.

2

Чиновник для особых поручений Тайной канцелярии ея императорского величества Авраам Михайлович Дементьев был поднят своим денщиком Филькой Фирсовым с постели в воскресный день в самое неурочное время – ещё на колокольне ближней церкви святых Петра и Павла не позвали к заутрене.

Помяная непотребными словами всю Филькину родню до седьмого колена, Дементьев выбрался из-под перины и уселся на постели. С хрустом потянулся и, шаря ногами в поисках туфель, наступил на хвост хозяйскому коту, который с визгом отскочил в сторону. Сунув ноги в туфли, Дементьев вперил заспанный сердитый взор в испитую Филькину харю: – Какого лешего, Филька, в этакую рань?

Рожа Фильки, освещённая огарком, зажатым в его могучей длани, выражала преданность и испуг. Он хриплым шёпотом доложил:

– Деша, барин, из канцелярии. Курьер дожидается, сказывает, велено передать немедля...

– Ну, чего буркала выпятил, дурья твоя башка! Экое дело, депеша! Впервой, что ли? Неси умываться, живо! – уже не так гневно приказал Дементьев, в который раз удивляясь Филькиной способности из любого пустяка придумать государственнейший секрет. Филька очень гордился тем, что его барин в «таком сурьёзном департаменте» обретается. Дементьев не раз краем уха слышал, как денщик заливал грудастой и толстощёкой Анфиске, дочери отставного сержанта Козьмина, у коего Дементьев квартировал, что «оне, дескать, с барином люди не простые, любого могут в бараний рог скрутить, кто токмо поперёк вякнет!». Понятны были Дементьеву Филькины разглагольствования: с воды пьян живёт, с квасу бесится. А чего? Уж больно охота ему козьминовой девке косу обрезать, а та артачится. Вот и набивает Филька себе цену. Правда, один толк от его болтовни всё же есть: родитель Анфискин уже который месяц долг за квартиру не требует. Да и потребовал бы, откуда взять? Жалованье служащим казна исправно задерживает, даже в его «таком сурьёзном департаменте».

Тем временем Филька, бормоча что-то себе под нос, притащил таз с водой, кувшин и белый фулер, служивший полотенцем. Дементьев отстранил кувшин, наскоро умылся на западный манер, плеская себе на лицо водой из таза. Коротко глянул в поднесённое денщиком мутное зеркало: бриться нет надобности – небольшие усики-стрелки ещё только отросли, а борода покуда вовсе не растёт, по молодости лет. Он

сам, без Филькиной помощи, надел белую рубаху, панталонны, чёрный камзол и такого же цвета алонсовый парик. Узкие, по последней моде, ботфорты без денщика натянуть не получилось. С горем пополам, при Филькином бестолковом усердии, обулся, взял шпагу и, скрипя гулками половицами, спустился вниз.

В прихожей топтался преображенец при тесаке и фузее. Завидев Дементьева, он прищёлкнул каблуками и протянул депешу.

Дементьев взломал сургуч, развернул послание. Сразу же узнал руку секретаря канцелярии Николая Хрущова. Он бегом прочёл письмо и сунул его в карман. Надел треуголку, протянутую Филькой, накинул плащ и приказал гренадеру:

– Пошли!

– Ждать-от, батюшка, когда? – вслед возопил Филька.

Но Дементьев даже не обернулся.

Послание Хрущова озадачило.

Николай Иванович Хрущов служил в Тайной канцелярии с первых дней её основания, то бишь с самого восемнадцатого года, прошёл здесь все ступени: от копииста до главного столоначальника – секретаря. Он ко всем немногочисленным служителям относился по-отечески, не чинился. К каждому, кроме генерал-поручика Ушакова и его помощника майора гвардии Альбрехта, обращался только по имени и отчеству. Особливо бывал ласков с Дементьевым, с отцом которого в молодые лета приятельствовал. Нынче же Хрущов был

сух: «вам, милостивый государь, надлежит прибыть в присутствии незамедлительно». И подпись.

Задумавшись о причине столь необычного вызова, Дементьев не заметил, как угодил правой ногой в яму с отбросами. Он упал бы лицом в грязь, не успеи поддержать его идущий обочь гренадер.

Дементьев выбрался на сухое место. Постучал перемазанным сапогом о лежащее поперёк улицы корявое бревно. Обругал матерно Ямбургскую слободу и всех её обитателей вместе с помойками. Сплюнул, перекрестился и наконец-то проснулся по-настоящему.

В округе совсем рассвело. Но зари не было видно из-за низких фиолетовых облаков, толкущихся у горизонта. О приходе нового утра говорили лишь узкий алый всполох посреди небосвода да перекличка слободских петухов.

– Ку-ка-ре-ку! – передразнил Дементьев одного громогласного кочета.

Тотчас откликнулись соседские петухи. В другое время всё это позабавило бы его, но нынче он даже не улыбнулся – снова подумал о письме Хрущова. Ускоренным шагом Дементьев и гренадер двинулись к Кронверку, за которым маячил шпиль Петропавловского собора.

Дошли до крепости довольно быстро. Часовой у ворот, узнав товарища и Дементьева, даже не спросил пароля и взял «на караул».

За воротами вестовой откозырял и отправился в корде-

гардию, сиречь караульное помещение, «досматривать сны», а Дементьев повернул налево к длинному одноэтажному каземату, где располагалась Тайная канцелярия.

У входа в каземат его окликнул другой часовой. Он был из числа молодых и потому устав блюл строго – преградил путь Дементьеву штыком.

Дементьев молча сунул часовому под нос серебряную бляху с гербом – знак принадлежности к Тайному ведомству, и тот тут же пропустил его, встав во фронт.

В канцелярии в столь ранний час было тихо. Дементьев миновал большое помещение, в котором обычно сидели канцеляристы и их помощники, и подошёл к комнате Хрущёва. Стукнул в дверь и, не дождавшись ответа, распахнул её. Секретарь был уже на месте. Он неторопливо перебирал на своём столе какие-то бумаги, как будто и не покидал присутствия. Огромный, времён прежних двух царствований, парик, припорошенный рисовой пудрой, висел за ним на спинке резного кресла, больше похожего на трон.

Дементьев негромко кашлянул.

Хрущёв тут же вскинул лысую, угловатую голову:

– А, Авраам Михайлович! Здравствуй, здравствуй, голубчик!

Он широко, по обыкновению, улыбался, но взгляд его нынче показался Дементьеву колючим.

– Явился, ваше высокоблагородие, по вашему зову... – громко доложил он.

– Ишь ты, какой служака вырос, отец погордился бы... – добродушно сказал Хрущов и снова зарылся в бумаги. Спустя какое-то время, словно вспомнив о Дементьеве, предложил: – Да ты присядь, голубчик Авраам Михайлович. В ногах правды нет.

Дементьев присел на один из массивных стульев у стены и стал терпеливо ждать, поглядывая время от времени то на Хрущова, то на свой грязный ботфорт, всё больше недоумевая, зачем его подняли в этакую рань.

А Хрущов, словно нарочно, заговорил о другом.

– Погляди, Авраам Михайлович, сколько челобитных, ябедных и поносных писем с новой почтой пришло. И всё самому, голубчик, самому приходится разбирать. Не на кого положиться. Все у нас – рысаки, а возовик один. Наш серко кряхтит да тянет... И-го-го! – и впрямь по-конски заржал он, зыркнул на Дементьева по-молодому синим глазом. – А ежели выдохнусь? А ежели меня лихоманка возьмёт до времени? Кто сии дерзкие письма читать станет? Послушай, голубчик, что токмо пишут! Вот из Соловецкого монастыря безымянный лаятель с оказией прислал.

Хрущов взял из кипы на столе помятый лист и с невыразимой скорбью на лице прочёл:

– «Надысь во дворе монастыря иеродьякон Самуил Ломиковский, вышед из нужника, держал в дланях две картки, помаранные гноем человеческим, и сказал при этом, что за эти де письма кому-нибудь лихо будет. Тут же возгласил сей

Самуил, что на картках написан титул Ея императорского величества и Ея величества фамилии, а подтирался, дескать, теми картками старый недруг иеродьякона иеромонах Лаврентий Петров. А ещё де Петров говаривал, что не токмо он, но и государыня де на престоле серет...». Каково? – спросил Хрущов обмершего Дементьева, прищурившись. В глазах у секретаря запрыгали чертята.

Дементьев не нашёлся, что ответить.

Хрущов как будто ответа и не ожидал. Начал безо всякой связи с предыдущим:

– Я ведь уважал батюшку твоего, Михайлу Арсентьевича, и более того скажу, любил, как родного. Ради светлой его памяти и тебя на службу определил... И тут помогал, незаметно, само собой разумеется... А ты, Авраша, как думал, сам за два годика такого чина добился? Одним собственным прилежанием? И губернским секретарём стал, и шпагу нацепил? Думаешь, в твои-то лета безо всякого родства, благодаря твоим талантам сие возможно? Эх, голубчик... – он усмехнулся, но тут же сделался серьёзным: – Не бывало во веки такого в Рассее-матушке и впредь, поверь мне, до-олго-онько ещё не будет. Везде родство нужно, а ежели оно нет, так радеть какой-никакой. Вот я, к примеру... Почему? Объясню тебе, голубчик. Способных людишек у нас в Отечестве хоть пруд пруди, а мест для кормления – раз-два и обчёлся. И каждый, заметь, каждый, кто в силах, норовит на оное место своего человечка поставить! – Хрущов поднял

указательный палец вверх и умолк. Он долго глядел на Дементьева, переменившегося в лице, прежде чем совсем уже миролюбиво заключил: – Да ты не дуйся на меня, старика, как мышшь на крупу. Я ведь обидеть-то тебя, Авраам Михайлович, намерения не имею. Зачем мне сие? Однако остеречь хочу, чтобы ты ошибочки не совершил...

Он замолчал и принялся опять перелистывать бумаги.

Дементьев не выдержал затянувшейся паузы.

– Я, поверьте, за всё сердечно вам благодарен, ваше высокоблагородие, но одного не пойму, какой ошибки мне остерегаться? – спросил, поднимаясь со стула.

– Вот, сей вопрос уже по делу, – как будто даже обрадовался Хрущов и, вперившись в Дементьева, сказал со значением: – Сам... пожелал тебя видеть. Аудиенция тебе, голубчик, назначена.

– Когда?

– Да вот сейчас и пойдёшь...

У Дементьева дух перехватило. Титула «сам» достаивал Хрущов только одного человека – начальника Тайной канцелярии, генерала и сенатора Андрея Ивановича Ушакова. И хотя штат их департамента был небольшим – и полутора десятков человек не наберётся, дистанция от чиновника для особых поручений до начальника тайного ведомства была просто неизмеримой. «Сам» вёл все дела только с Альбертом и с Хрущовым. Дементьеву встречаться с Ушаковым с глаза на глаз ещё не доводилось. Чиновников его ранга на-

чальник как будто и не замечал.

– По какой нужде? – едва выдавил Дементьев. Ноги стали ватными, и он снова опустился на стул.

– Э, да ты побледнел никак, голубчик! Ну-ну, не рви сердце. Это будет просто добрая беседа. Да-да, просто беседа. Но она может благоприятно сказаться на всей твоей планиде. И запомни, их превосходительство обратили на тебя свой взор исключительно по моей рекомендации. Гляди же, Авраам Михайлович, голубчик мой, не подведи. Не сделай ошibочки, коли «сам» тебе что-либо предлагать станет. Не любят оне непонятливых, – узкие губы Хрущова снова растянулись в некое подобие улыбки. – Знаешь, где апартаменты их превосходительства?

Дементьев судорожно сглотнул.

– Тогда не мешкай, голубчик, ступай, ступай! – распорядился Хрущов и с видом человека, занимающегося самым приятным делом, снова погрузился в чтение доносов.

3

Андрей Иванович Ушаков после бессонной ночи в пыточном каземате вздремнул ненадолго уже под утро. Он прикорнул прямо в апартаментах, опустив тяжёлую голову на просторный дубовый стол.

Приснилось ему, будто снова очутился в родном Новгородском уезде в Бежецкой пятине, снова молод и беден. Буд-

то спят они с братьями вповалку на полотах, а единственный их холоп Аноха, по прозвищу «праведник», принёс под дверь барской избы сшитый им из последнего куса холстины балахон и сплетённые из семи лык лапти-семерички – одну пару на пятерых. Надо как-то поскорее проснуться, чтобы эти невыносимые богатства ему, Андрею, достались, а то ведь не в чем в праздник Христов к обедне пойти...

Страх, похожий на удушье, навалился на него, а вдруг вперёд поднимутся братья: Иван, Поликарп, Роман, Иеремей... Вдруг не ему, а кому-то из них достанутся лапти и балахон...

Вскинул Андрей Иванович свою крупную, словно топором вырубленную, голову, усилием воли разомкнул непослушные веки и долго безумно таращился на увешанную шпалерами стену апартаментов, не в состоянии понять, где находится, что с ним...

Опамятовшись, не смог удержать восклицание:

– Приблизится же такое, ай, детина! Скока годков прошло? Почитай поболее сорока, а всё полынь горькая мерещится!

Он потёр здоровенной, мужицкой пятернёй лоб, помотал головой, точно скидывая наваждение. Поправил сбившийся набок модный алонсовый парик.

Да, теперь даже представить трудно, что всё это с ним было. Было на самом деле. И ранняя смерть отца Ивана Алфёрьевича, представителя древнего княжеского рода, берущего начало от Касожского Редеди, да обедневшего вконец. И ни-

щенское сиротство, когда приходилось хаживать с крестьянскими девками в лес по грибы да ягоды, чтоб с голоду не умереть.

Слава Богу, силушкой и проворством природа сызмальства не обидела. Тринадцати годков от роду он телегу вместе с лошадыю один из болота вытягивал. Мог на спор на руках перенести здоровущую девку через огромную лужу. Девки любили его, что и говорить, любили! Тогда же, в тринадцать лет, он и плотские утехы впервые познал, с соседскими крепостными молодайками, которые его иначе как «Ай, детина!» и не кликали. И прозвище сие не от одного громадного роста происходило, а оттого, что умел он девкам угодить...

С тех давних лет и прицепилась к нему эта присловица, поначалу вызывавшая смех у окружающих.

Правда, соседям-помещикам, чьих крестьянок он пользовал за неимением своих собственных, вскоре стало не до шуток.

– Этак скоро в наших деревнях одни Ушаковы бегать будут... – злобствовали они на сластолюбивого соседского отпрыска и вздохнули с облегчением, лишь когда в 1704 году записался Андрей солдатом в Преображенский полк.

– Вот это левиафан! – воскликнул царь Пётр, увидав нового рекрута. Встал рядом, глянул прямо в глаза очами совиными. – А слабо тебе со мной силой померяться?

– Отчего ж слабо, государь? – не сробел Ушаков и глаз не отвёл.

Он не только в состязании по загибанию рук не уступил могучему царю, но и так же завязал узлом железную кочергу, заставив Петра Алексеевича восторгнуться:

– Ну, удалец, как бишь тебя...

– Ушаков, государь.

– Служи, Ушаков! Я тебя запомнил...

Ушаков и служил. За четыре года из рядового стал капитан-поручиком. В 1708 году в этом чине был приставлен наблюдать за пленными шведами. Тут и заметил Пётр Алексеевич в Ушакове склонность к секретной службе. Сделал Ушакова своим адъютантом и капитаном гвардии, стал посылать его с различными тайными поручениями: то в Польшу для надзора за армейскими офицерами, то в Москву для истребления злоупотреблений среди купечества, то в Нижний Новгород для розыска порубленного казённого леса. По воле государя Ушаков смотрел за корабельными работами и Адмиралтейством, за недоимками и за казнокрадами... В день победы над шведами был пожалован генерал-майором, а в 1724 году стал сенатором.

И всё же главным делом стала для него Тайная розыскных дел канцелярия, где сумел он раскрыть все свои таланты и способности.

Не без основания считается, что сластолюбие и садизм – одного корня. Как некогда самозабвенно отдавался Ушаков любовным утехам, так впоследствии со страстью и самоотверженностью исполнял возложенные на него обязанности

по розыску и устранению тайных врагов. И не то чтобы нравилось ему наблюдать за муками оказавшихся в его власти. Ушакову в этом далеко до его предшественника – начальника Преображенского приказа князя-кесаря Фёдора Юрьевича Ромодановского. Вот кто был сущий изверг, настоящий заплечных дел мастер. У него даже присказка была, мол, всегда в кровях омываемся.

Себя же почитал Ушаков просто истинным ревнителем государства Российского, оком государевым и опорой монархии. Он любил повторять:

– Я с малолетства промышляю едино государевым делом – служу царю.

На сетования сослуживцев, что служить приходится кнутом, отвечивал:

– Кнутом мы плутов посекаем, инда на волю отпускаем...

В этом деле был он прост и прям, как гренадерский багинет, и так же, как штык, прочен и надёжен: выполнял своё призвание весело и с каким-то душевным спокойствием. При этом Ушаков никогда не имел собственных властных амбиций. Может, потому и сумел пережить все дворцовые перевороты. Даже после прихода к власти малолетнего внука Петра Алексеевича, который тут же стал сводить счёты со всеми, кто причастен к смерти его отца – царевича Алексея, Ушаков суровой кары избежал, отделался ссылкой в деревню.

Новая императрица вернула его в столицу, снова сдела-

ла сенатором, пожаловала личную парсуну для ношения на груди и отдала под начало вновь созданный государев арелопаг. Ушаков, истосковавшийся по любимому делу, взялся за работу. Да так рьяно, что даже выдавший виды палач Фёдор Пушников не выдержал, нынче ночью взмолился:

– Смилуйтесь, ваше превосходительство, дайте роздых! Третьи сутки плеть из рук не выпускаю...

– На том свете отдохнёшь, – ответил Ушаков и продолжил допрос.

Дело, которым он занимался, того стоило. Оно требовало немедленных действий. Именно по этому делу он нынче и пригласил служителя, рекомендованного Хрущовым.

Пока тот не явился, Ушаков вспомнил ещё раз все подробности ночного допроса, покрутил локон парика, мечтательно пробормотал:

– Эх, мне бы столько соглядатаев, как у начальника тайного ведомства в Париже! Подумать токмо, в одном городе более полутысячи фискалов имеет, да ещё «чёрный кабинет» для перлюстрации писем и особых агентов для слежки за иностранцами... Далеко пока нашей канцелярии до такого размаху. Но, как говорится, нет худа без добра.

Тут подумалось Ушакову, что хотя и малый штат сотрудников в канцелярии, а подручных у них немало. В первую очередь это – люди служилые: коменданты, курьеры, гренадеры, моряки – все, кто по распоряжению Тайной канцелярии занимается розыском и задержанием. Здесь и православ-

ные священники, которых ещё в 1722 году по воле Петра Синод обязал открывать властям тайну исповеди, если речь идёт о государственном преступлении. А сколько таких среди простого люда, кто первым услышал грозное «слово и дело» и тут же волочёт товарища на съезжую... Тут уж точно не зевай, хватай вскричавшего или того, на кого он перстом указал, а то, гляди, сам под разделку попадёшь!

Есть у тайного ведомства помощники добровольные – те, кому сыск, доносительство и подглядывание близки, так сказать, по породе, доставляют душевное, а то и физическое удовольствие и, конечно же, материальную выгоду: имущество врагов империи, по указу 1713 года, достаётся именно отличившимся доносителям. Анна Иоанновна, благословенно будь её правление, эту добрую традицию поддержала. Один из первых указов новой императрицы обязал подданных «доносить на ближнего безо всякого опасения и боязни того же дни. А если в тот день, за каким препятствием не успеет, то, конечно, в другой день, ибо лучше донесеньем ошибиться, нежели молчанием...».

Размышления Ушакова прервал осторожный стук в дверь.

– Входи! – громыхнул он.

Вошедший отрапортовал:

– Чиновник для особых поручений Дементьев, ваше превосходительство! – голос у него подрагивал.

«Бойтся, а ещё для особых поручений... – отметил Ушаков. – Что ж, страх в нашем ремесле вещь немаловажная, а

иной раз даже полезная».

Он внимательно оглядел Дементьева: ростом не удался, но скроен ладно, одет аккуратно. Задержался взглядом на румянце – ну, ровно у молодухи. Приказал:

– Подойди поближе.

Дементьев приблизился.

– Имечко откуда, Авраам? – неожиданно спросил Ушаков. – Ужель из святцев, ай, детина?

Дементьев раскраснелся ещё сильнее, но ответил уже без дрожи в голосе:

– Никак нет, ваше превосходительство, не из святцев. Батюшка мой назвал меня так в честь Авраама Петровича Ганнибала. Батюшка у них денщиком службу начинали.

– Знавал я некогда крестника государева. Что ж, образец достоин подражания, хотя и не во всём... Ведаешь ли ты, ай, детина, где сейчас сей капитан-лейтенант Преображенского полка обретается?

Дементьев отрицательно мотнул головой.

Ушаков отчеканил:

– Отставной бомбардир Ганнибал самовольно возвернулся из Сибири в Санкт-Петербург и не далее как третьего дни был на аудиенции у генерал-фельдцейхмейстера Миниха, у коего просил покровительства. Оный Миних посоветовал ему тайно убыть в свою деревню, где и пребывать в ожидании монаршей милости...

Ушаков тяжело поглядел на Дементьева, которого снова

начало трясти.

– Мне сие обстоятельство не известно, ваше превосходительство.

– А мне всё ведомо! – Ушаков встал из-за стола, подошёл к Дементьеву, навис над ним, как неотвратимое возмездие. – Посему, ай, детина, врать мне не сметь!

Дементьев был готов разрыдаться:

– Да я, разве, я... И не помышляю, ваше пре... – голос его осёкся.

Ушаков вернулся за стол и спокойно, уже безо всякого нажима, спросил:

– Знаешь ли ты Беринга, ай, детина?

– Чести быть представленным капитану Берингу не имел, – едва справляясь с собой, произнёс Дементьев, – но о делах его славных наслышан.

Ушаков хмыкнул:

– Так ли уж славных?

Дементьев, к которому опять вернулось самообладание, отвечал уже более твёрдо:

– В «Санкт-Петербургских ведомостях» писано академиком Герардом Миллером, что экспедиция под началом господина Беринга изобрела пролив между северными и восточными морями. Сей пролив позволит водяным путём из Лены до Японы, Хины и Ост-Индии беспрепятственно добраться. И называется сей пролив Аниан, ваше превосходительство...

– Ага, молодец, ай, детина! – похвалил Ушаков. – В географии ты силён и ведомости читаешь. А такие читывал ли?

Он поднял со стола большие жёлтые листы:

– Ну-ка, глянь!

Дементьев уставился на незнакомые буквы, как баран на новые ворота:

– Не по-нашему писано, ваше превосходительство. Я по-немецки обучен, аглицкую грамоту разбираю. Но такой язык мне неведом...

Он осторожно положил газету на край стола.

Ушаков снова усмехнулся:

– То-то и оно, что неведом. Сия ведомость из Копенгагену – датского парадизу. Мне она, ай, детина, тамошним российским корешпондентом прислана. И перевод приложен. Так вот, сообщает сия ведомость все подробности плаваня упомянутого Беринга, койй, да буде тебе известно, датчанин по происхождению. Заметь, всё в датской газетке есть – количество судов, построенных на Камчатке, широта, где пролив, поименованный Анианом, обретён. А ведь оная экспедиция была сугубо секретной, в чём её участники руку приложили. Скажи, откуда у чужеземцев такая осведомлённость? Чего это им так знать охота, что в нашем Отечестве деется?

Дементьев не знал, что ответить.

Это не понравилось Ушакову. Он нахмурился, но продолжал говорить ровно:

– Сие есть большой политик, и ясно, что не твоего ума

дело. Но скажу, а ты запомни: нет в Европе друзей у Отечества нашего. Все, кто нынче к нам лабзится, завтра нож в спину воткнуть норовят. Спокон веку так, с самых незапамятных времён. Потому и должно нам бдить! Намедни была перехвачена депеша голландского посланника барона Зварта. Кажись, дружественная нам держава, ан курьер на дыбе сообщил, что направлен к грифферу, сиречь хранителю тайн тамошнего правительства. Записку, цифирью тайной писанную, выдал. Над цифирью, ай, детина, голову наши копиисты поломали изрядно и всё же прочли. Так вот, голландский борзописец извещает, что господин Беринг предложил ему, при соблюдении всяческой предосторожности, копию карты, которую составил в путешествии. Зварт же намеревается вставить на место русских названий голландские и переслать оную карту в Амстердам...

– Прикажете арестовать капитана? – глаза Дементьева заблестели, как у гончей, почуявшей дичь.

– Горяч ты, ай, детина! Кабы всё так просто было. Всё куда запутанней. В Адмиралтейств-коллегию ещё год назад поступил рапорт от капитана Чирикова, бывшего помощником Беринга в экспедиции. Он не токмо упрекает начальника своего в неисполнении инструкций покойного государя нашего Петра Алексеевича, но и докладывает о мошенничестве с казённым хлебом, в котором повинны, дескать, капитан Беринг и лейтенант Шпанберг. Чириков, по отзывам, моряк знатный, человек справедливый и к лукавству не склон-

ный. Уже по рапорту его надлежало бы сих иноземцев, пребывающих на службе морской, к разделке привести. Однако нашлись у них защитники. На самом верху... – Ушаков со значением воздел глаза к низкому потолку и умолк.

Подождав, пока Дементьев уразумеет услышанное, продолжил: – Беринг, очевидно, боясь следствия по делу о хлебных закупках, успел представить правительству прожект под названием: «Предложения об улучшении положения народов Сибири». Тут же следом подал записку о второй Камчатской экспедиции. Эти прожекты перевёл на немецкий язык тот самый академик Герард Фридрих Миллер, статью коего ты, ай, детина, поминал. Обер-секретарь Сената господин Кирилов, большой охотник до разных путешествий, передал сии бумаги обер-камергеру Бирону. А тот, на радость Берингу, их поддержал. В мае прошлого года кабинет Ея императорского величества принял решение об улучшении управления Охотским краем и Камчаткою. Более того, нынче на подписи у государыни находится указ о снаряжении новой экспедиции на Камчатку, и начальствовать над нею, как ведомо мне, вновь будет Беринг. Не сегодня-завтра последует высочайшая резолюция... Понятно, ай, детина, что теперь нельзя сего капитана арестовать?

– Что прикажете, ваше превосходительство? – преданно глядя в лицо начальнику, спросил Дементьев.

Ушаков про себя усмехнулся: экое всё-таки дитя, но сказал веско: – Отправишься на Камчатку вместе с Берингом.

Будешь в его экспедиции моими глазами и ушами. Выяснишь доподлинно, кто государевы секреты ворует, награжу щедро. Проморгаешь – кишки выну, – он окинул ещё раз Дементьева взглядом с головы до ног и заключил: – Да заруби себе на носу, ай, детина, не тот вор, кто ворует, а тот, кто ворам потакает! Отправляйся, с Богом! Остальное тебе Хрущов растолкует!

Когда за Дементьевым закрылась дверь, Ушаков долго сидел в задумчивости, выстукивал пальцами барабанную дробь и гадал: ошибся или не ошибся он в своём выборе.

4

– Э, голубчик, да на тебе лица нет! – заметил Хрущов, когда Дементьев возвратился к нему.

Сам секретарь в этот момент пил кофе, по-стариковски причмокивая и отдуваясь. Предложил и Дементьеву:

– Садись, попей-от кофею, Авраша. Согрей душу!

Он усадил Дементьева, который от пережитых тревожных и впрямь был сам на себя не похож, за стол. Поставил перед ним стакан зелёного стекла, плеснул туда кофе из видавшего виды кофейника. Придвинул стул и уселся рядом.

Увидев, что Дементьев не пьёт, спросил:

– Ну что, голубчик?

– Ваше высокоблагородие, Николай Иванович, за что мне сия немилость? – простонал Дементьев и неожиданно раз-

рыдался, как мальчишка.

– Ну, полноте, голубчик, полноте... – Хрущов засуетился, не зная, как его успокоить, и вдруг рявкнул: – Встать! Шпагу из ножен!

От неожиданности Дементьев вскочил, схватился за эфес. Слёзы мигом высохли.

– Так-от оно лучше, голубчик! А то ишь, чиновник для особых поручений, а мокрое дело развёл, словно девка на выданье, что первый раз суженого увидала. Да отпусти шпагу-то, не ровен час меня заколешь али себя пырнёшь... – почти ласково произнёс Хрущов.

Дементьев вложил шпагу в ножны, и Хрущов повторил приглашение:

– Ты кофею попей, Авраам Михайлович. Полегчает...

Пока Дементьев, обжигаясь и давясь,пил отдающий гарью напиток, Хрущов выговаривал ему:

– Страшен кус на блюде, а съестся, так слюбится... Счастья своего ты не разумеешь, голубчик! Великий талант тебе выпал: от «самого» поручение поимел. А что на край света посылают, так не горевать, а радоваться надобно: больше на виду будешь. В парадизе-то – катавасия: куртаги да машке-рады, а там – дело живое, новое. Где, как не в таком деле, молодому человеку отвагу свою и преданность порфирино-ной правительнице нашей явить, а? Словом, пока молод, послужи-ка в дальних краях, голубчик, в столице наживёшься ещё...

– Нет на то моей воли, ваша милость, – промямлил Дементьев.

– Ах, Авраам Михайлович, всякий из нас невольник либо обстоятельств, либо страстей. Ну да хватит, прекратим препирательства, – оборвал Хрущов.

Он встал, прошёл в угол комнаты, открыл дверцу неказистого шкапа и извлёк с полки пергамент. Вернулся к столу, спросил:

– Ты ведь, голубчик, кажись, учился в морской академии?

Дементьев кивнул, пытаясь разглядеть, что за бумага. Ничего не разобрал, кроме того, что бумага китайская, дорогая, с водяными знаками.

– А теперь отвечай, да не скрытничай! Ты был отчислен по невозможности родителя собрать денег тебе на прокорм и одежду? – спросил Хрущов.

Дементьев покраснел и пробурчал что-то невразумительное.

– Ты не мычи, рапортуй по регламенту! – вместо участливого старика, только что потчевавшего его со всем радушием, на Дементьева взирал гневный начальник.

– Точно так, ваше высокоблагородие, – вытянулся Дементьев. – После академии переведён был в Московскую навигацкую школу, что в Сухаревой башне. Оную так же не окончил по причине смерти батюшки моего...

– Это поправим, голубчик, – уже ласковей сказал Хрущов, протягивая пергамент. – Сей именной рескрипт на твоё имя

об окончании математическо-навигационной школы и присвоении тебе чина флотского мастера.

– Зачем сей подлог? – покраснел Дементьев.

– Иноб ты не знал, а то ведь сказано: закрывом идёшь – ни одна душа о тебе догадки иметь не должна. Подлога же починам и вовсе нет, флотский мастер твоему статскому званию равен. В нашем ремесле так ведётся, что негоже пренебрегать никакой малостью! С кем учился в морской академии, помнишь?

– Как сие забыть! Конечно, помню. Михайло Гвоздев, Дмитрий Овцын... Последний самый добрый приятель мой был, а преподавал нам науку мореходную унтер-лейтенант Чириков Алексей Ильич. Тот самый, что с Берингом ходил!

– Вот и ладно, – довольно потёр руки Хрущов. – Чириков как раз людей для новой экспедиции подбирает. К нему и отправишься поутру в Адмиралтейство. Заодно и с приятелем своим Овцыным повидаешься. Пусть походатайствует. Да памятуй: будь осторожен с тем и с другим, себя не выдай. На землю плюнешь, обратно плевков не подынешь! Нарочно нынешний день тебе оставляю, дабы морской устав заново перечёл и то, чему в школе навигационной учили, вспомнил. От завтрашнего дня весь успех твоего поручения зависит. Я, разумеется, постараюсь помочь, но более на себя полагайся, голубчик! Возьми вот на прощание подарок от старика, – Хрущов достал из кармана сюртука крошечный карманный пистоль, повертел его на ладони, похвастался: – По особому

заказу изготовлен, с пяти шагов трёхдюймовую доску прошибает! Держи, голубчик, авось пригодится, – он протянул пистоль Дементьеву.

У порога они с Хрущовым обнялись, троекратно расцеловались. Дементьев вышел из присутственного места и направился к себе на квартиру.

У самых ворот крепости услышал, как на колокольне ударили к заутрене, и подумал: «Надо же, всего час прошёл, как из дому, а уже вся жизнь наперекосяк!»

Горькие мысли не покидали Дементьева весь день. Давно позабытые науки не лезли в голову. Он злился на Хрущова, на Ушакова, на Беринга с этой его дальней экспедицией. Злился на весь белый свет. Со зла, видать, и накушался казёнки, которую верный Филька в долг раздобыл в соседнем кружале. Но и казёнка не спасла от тяжких дум: что ждёт в грядущем?

Спал Дементьев плохо. Его мучили кошмары, и наутро он встал ещё боле не в духе, чем накануне. Однако выбора не оставалось. Он перекрестился на икону Николая Чудотворца, надел белую рубаху, натянул свой старый гардемаринский кафтан: канифасный, чёрного цвета. Потянулся. Нитки под мышками затрещали, но ткань выдержала.

– Раздались вы, барин, в плечах, возмужали! Новый бы мундир справить... – подал голос Филька.

– Справим, коли живы будем! – буркнул Дементьев.

– Может, рассольчику, барин, принести? – не унимался

Филька.

– Отстань, дурак!

Дементьев надел долгополый офицерский плащ, треуголку. Глянул на себя в зеркало:

– Машкерад... – и вышел из дому.

Адмиралтейство встретило его разноголосым гулом, топотом сапог и башмаков, хлопаньем десятков дверей. Он не был здесь с петровских времён. Теперь во флоте, ежели верить рассуждениям знакомых моряков, многое переменялось: корабли стоят у причола, гниют в бездействии, а в море не выходят. Но здесь, в Адмиралтействе, пока перемены не ощущались. Пахло смолой и пенькой, морские служители переносили из зала в залу оружие, парусину, топоры, лопаты, ядра. Без конца входили и выходили курьеры.

Дементьев отвык от подобной сутолоки и даже поначалу растерялся. Он застыл на первом этаже посреди приёмного зала и потерянно озирался по сторонам. Вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд.

Оглянувшись, встретился глазами с красивой барыней, стоящей у высокого окна. Сколько ей лет – тридцать пять или сорок, он не разобрал. Заметил только яркие румяна, чёрные брови вразлёт и богатую меховую пелерину.

Неожиданно барыня улыбнулась ему, приподняв насурьмлённые брови, и тут же погасила улыбку, но томных глаз не отвела.

Щёки у Дементьева полыхнули.

– Вот так фря...

– Важная, видать, особа... – слышалось за спиной.

Дементьев обернулся. Мимо проходили два морских служителя. Они, так же как он мгновение назад, поедали глазами красивую барыню. Перехватив взгляд Дементьева, матросы умолкли, но, отойдя чуть в сторону, продолжили разговор:

– Знаешь, кто такая?

– Да, супружница нашего...

Дементьев напряг слух, но так и не разобрал, чья же жена эта незнакомка.

Его окликнули:

– Здорово, брат Дементьев, ты как здесь?

Он увидел протискивающегося к нему сквозь толпу улыбающегося офицера:

– Овцын, ты?

– Я, а кто ещё?

Они обменялись рукопожатиями и обнялись. Когда Дементьев снова поглядел в сторону окна, красавицы-барыни там уже не было.

Глава вторая

1

В пыточной избе пахло горелым. Тяжёлые капли медленно срывались с низкого потолка, гулко шлёпались о грязный пол. Лениво потрескивали лучины в поставце, синеватыми огоньками перемигивались остывающие уголья в закопчённом железном лотке, где вперемежку лежали орудия для истязаний: щипцы, крючья, клейма.

Дюжий кат, отбросив в сторону окровавленную плеть, тяжело отдуваясь, вытер пот с лица рукавом пропревшей насквозь рубахи. Выжидательно уставился на дьячка, сидящего за неструганым столом, – поодаль, там, где в обычных избах красный угол. Худосочный, похожий на сморщенный гриб дьячок пристально разглядывал кончик гусиного пера, только что извлечённого из обшарпанной чернильницы.

– Акинфий, ты тараканов в чернила натолкал? Я уже второе перо загубил... А оно нынче дорого стоит... Чего молчишь? – дьячок перевёл прищуренный взгляд на ката.

Акинфий, высунув обрубок языка, промычал что-то нечленораздельное и ткнул пальцем в сторону человека, висящего на дыбе.

– Брось болтать! Энтот тараканов в чернила не насыёт,

у него – все тараканы в башке! Эвон выдумал: мол, никому неведомую матёрую землицу оне сыскали... Ну-ка, всыпь ему, чтоб врать было неповадно! Кака така землица, где она?

Кат поднял кнут, замахнулся, но ударить не успел.

Гулко бухнула входная дверь. Что-то гроыхнуло в сенях. Вслед за седыми клубами морозного воздуха, низко пригнув голову в треуголке, в пыточную ввалился начальник Охотского порта Скорняков-Писарев. Не удостоив дьячка даже кивком, он прошёл к столу и, едва не смахнув допросные листы, скинул с себя суконный плащ, остался в поношенном, без знаков отличия преображенском мундире – зелёном, с широкими красными обшлагами – словно по локоть в крови.

Оробевший дьячок подскочил с лавки и застыл в поклоне, не зная, как приветствовать вошедшего. Говорят, новый начальник прежде громадную власть имел, но после утратил. Здесь, в Сибири, оказался. В Сенатском-то указе ничего не сказано о возвращении ему генеральского чина и звания многих орденов кавалера. Диковинно сие: сам ссыльный, а над всеми государевыми людьми командир! Впрочем, в прежние лета и не такая ажиотация случалась. Знающие люди сказывали, что сам светлейший князь Меншиков в Москву голодранцем пришёл, с одной денежкой за щекой, а как вознёся... Светлейший, опять же по слухам, нынешнему начальнику первейшим дружкой приходился. По дружбе, видать, и упёк Скорняка на край земли... Сюда, в Охотск, прямо из ссылки он и назначен... Не от того ли и зол, как

пёс цепной? Да куда до него псам? При нём даже местные собаки хвосты поджимают, чувят – лютый, загрызть может!

Дьячок осторожно приподнял голову и снова застыл в позе, выражающей самое большое почтение. Начальник, передвинув шпагу (ой, не по чину, повешенную на перевязь!), уселся на лавку, поморщился – ну и вонь! – и рявкнул:

– Говори!

Дьячок торопливо доложил:

– По обряду, каким обвинённый пытается, ведём допрос сего геодезиста Гвоздева Михайлы... Не винится никак.

Он перевёл дух и, оправдываясь, добавил:

– Тисками персты сего злодея зажимали, лили на темя студёную воду. Голову верёвкой стягивали, пятки берёзовым веником палили. Всё – без толку. Нынче добываем истину на дыбе...

– Довольно, – остановил дьячка начальник: перечисление пыток ему явно было не по нутру. «Знать, на своей шкуре испробовал», – догадался дьячок и внутренне подобрался – битый пёс злее становится.

Начальник помолчал какое-то время, потом перевёл стылый взор с дьячка на ката, а с того на дыбу. Спросил угрюмо:

– В чём повинен?

– Взят по доношению Кольши Денисова, ссыльного из матрозов, обретавшегося при поварне. Гвоздев в кружале в изрядном подпитии сказывал, будто хаживал к неведомой Большой земле, напротив Чукотского носу. И, дескать, зем-

лица сия знатная. И так, мол, она схоронена в море-окияне, что туда, прости Господи, антихристово племя вовек не доберетца. Нету там, мол, ни господ, ни ампирастрицы, а Гвоздеву будто бы путь известен и карта имеется... Тут Кольша и вскричал: «Слово и дело государево». Обоих и повязали...

– Под пыткой слова поносные подтвердились?

– Матроз хлипкой оказался... Всё пересказал, ещё до дыбы. Но по обряду должно было трижды его к потолку подтянуть. Так он на второй виске преставился... – дьячок боязливо умолк, ожидая, что скажет начальник. Но тот молчал, и дьячок продолжил:

– Помереть ему, ежели разобраться, и немудрено было: Акинфий с пятого удара мясо до костей сдирает, а с десятого, случается, и до станового хребта пересечёт... А энтот, – кивнул он на пытаемого, – покрепче, двенадцать плетей получил, а молчит, ну, вылитый Акинфий, хо-хо. Кат-от у нас с некоторых пор не болтлив – язык у него урезан... – дьячок сдержанно хохотнул и снова, испугавшись, придал физиономии постно-преданное выражение.

– Молчит? А ежели он неповинен, что тогда? Ежели, согласно обряду, и после третьей дыбы не окочурится и донос не подтвердит, ужели отпустишь? – начальник пристально взглянул на дьячка.

– Как прикажет ваше превосходительство, – бывший титул начальника вырвался из уст дьячка невольно, будто бы сам собой, но произвёл необходимое действие. Угрюмое ли-

цо Скорнякова-Писарева немного размякло. Заговорил он странно и непонятно:

– Пытка не есть испытание истины. Она скорее испытание терпения, ибо утаивает правду и тот, кто в состоянии пытку вынести, и тот, кто не в состоянии... Боль заставит признать и то, что есть, и то, чего не было. Уразумел?

Дьячок кивнул слишком торопливо, чтобы это было правдой.

Начальник заметил, усмехнулся:

– Э, видать, сии мыслительные экзерсисы не для тебя. Ладно, дьяк, продолжай, ищи истину! Авось отыщешь...

Он встал, накинул плащ и перед тем, как уйти, распорядился:

– Допросные листы принесёшь ко мне. Почитаю...

2

Посещение пыточной разбередило душу Григория Григорьевича. Столько лет таил он под неприступным видом разгневанную гордыню. Усердно топил в вине приступы совести. Думами о страшной мести изводил в себе остатки человечности. Ан нет – живучая тварь, душа – не сгнула, встрепенулась, заныла...

И хотя, говорят, что прежде всего вспоминает человек личные обиды, на этот раз память не стала изводить его картиной правежа над ним – потомком древнего панского ро-

да, чьего предка Семёна Писаря сам великий князь Василий Васильевич за верную службу пожаловал многими вотчинами. Не напомнила, что вершился сей неправый суд по воле бывшего разносчика пирожков с требухой, лучшего «камрада» по потешным играшкам, а ныне – светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова. Не заставила сжаться сердце воспоминанием, как на посмешище толпе на его спине взбугрились и остались навсегда страшные кроваво-синие рубцы...

Нет, память явила совсем иное: обнажённые дебелые руки и пышущие жаром щёки отставной царицы Евдокии Фёдоровны, когда её, прямо с пуховой постели, в одной сорочке привели к нему на допрос в Суздальском монастыре.

Что и говорить, не по монастырским канонам жила новообращённая монахиня: и платье носила мирское, и по-царски ела и спала. Даже на новое имя Елена, данное при постриге, не откликнулась, требовала величать её государыней и матушкой-царицей. И всё это творилось при попустительстве ростовского епископа Досифея, ярого противника реформ. Он даже закрыл глаза на то, что у Евдокии появился любовник – амант, некий майор Глебов, голубоглазый и златовласый красавец. Он прибыл в Суздаль для набора рекрутов, да задержался – себе на погибель! При каких именно обстоятельствах удалось сему Глебову познакомиться с царицей-монахиней, и после пытки осталось неизвестно. Но, видать, был он в амурных делах не промах, а Евдокия, истос-

ковавшаяся по мужской ласке, оказалась крепостью, готовой к сдаче. Тут, трезво рассудил Григорий Григорьевич, когда б не Глебов, так другой кто сыскался...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.